Государь. По ту сторону добра и зла

Автор:
Никколо Макиавелли

Государь. По ту сторону добра и зла

Никколо Макиавелли

Фридрих Вильгельм Ницше

Философский поединок

Никколо Макиавелли – итальянский философ и писатель. В своем главном произведении «Государь» он обосновал принципы сильной государственной власти, для укрепления которой допускал применение любых средств.

Фридрих Ницше – один из самых известных немецких мыслителей, создавший собственную философскую концепцию («философия жизни»), которая получила широкое признание и в то же время по сей день вызывает множество споров. Символ философии Ницше – сверхчеловек, которому дозволено все; движущая сила общественного развития – воля к власти.

В книгу, представленную вашему вниманию, вошли знаменитые произведения Н. Макиавелли «Государь» и Ф. Ницше «По ту сторону добра и зла», а также другие их труды, посвященные теме сильной личности.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Никколо Макиавелли

Государь. По ту сторону добра и зла

© Перевод с итальянского, перевод с немецкого, 2015

© ООО «ТД Алгоритм», 2015

Никколо Макиавели Государь

Предисловие. «Люди не стоят того, чтобы их жалеть»

(из биографического очерка А.К. Дживелегова «Никколо Макиавелли»)

…Момент поступления на службу делит жизнь Макиавелли на две почти равные половины. Вторая известна нам хорошо. Первую мы не знаем совсем, а знаем только то, что служило ей фоном. Бурные были времена и в то же время самые блестящие в истории его родного города. В 1478 году девятилетним мальчуганом Никколо видел, как обезумевший народ гонялся по улицам за членами семьи Пацци и их сторонниками, как висели в окнах Дворца Синьории архиепископ Сальвиати в лиловой рясе, Франческо Пацци совсем голый, с окровавленной ногою и трое Якопо: два Сальвиати, родственники архиепископа, и один Браччолини, сын Поджо. Четвертый Якопо, Пацци, повешенный тоже спустя два дня и похороненный в Сайта Кроче, был удален из церкви и закопан где-то под стенами. Его вырыли из второй могилы, и мальчишки, захлестнув труп за шею веревкою, волокли его по городу, подтащили к собственному его дому, громко крича, чтобы отворили хозяину. Потом бросили в Арно. Маленький Никколо если и не был свидетелем всего этого, то не мог не слышать разговоров. Порукой – необыкновенная даже в «Истории Флоренции» пластичность рассказа о заговоре Пацци.

Подрастая, Никколо наблюдал режим Лоренцо Медичи, необыкновенный блеск культуры и быта: празднества, турниры, процессии, карнавальные шествия с мифологическими фигурами, в устройстве которых соперничали Сандро Боттичелли и Пьеро ди Козимо. Он ходил смотреть в Санта Мариа Новелла только что открытые, сверкавшие свежими красками фрески Гирландайо и

слушал около них разговоры о том, как похожи изображенные художником Анджело Полициано, Марсилио Фичино, Кристофоро Ландино. Наблюдательность понемногу становилась острее, и он начинал понимать, что под этим блеском уже кое-где проступают признаки упадка, что торговля и промышленность больше не поднимаются, а идут к уклону, что тирания Лоренцо жестче, чем тирания его деда, что республика крепко зажата в кулак, а свобода существует только в льстивых панегириках, расточаемых Лоренцо гуманистами. И чем лучше понимал это Никколо, тем меньше нравились ему пышные процессии и тем меньше хотелось ему веселиться под звуки карнавальных песен.

Ему было двадцать три года, когда смерть Лоренцо резко покончила с этим обманчивым покоем. При Пьеро Медичи флорентийская тирания, поглупевшая и обнаглевшая, стала быстро катиться к пропасти. Не успело успокоиться ликование, вызванное падением Пьеро, как в город явились французы. Диалог между Карлом VIII и Пьеро Каппони: «Я прикажу ударить в барабаны». – «А мы ударим в колокола» – короткий, как звон скрестившихся клинков, заставил город целые дни трепетать от тревоги и ярости. Но король испугался, и французские барабаны вместо атаки забили отступление. Никколо переживал со всеми эту встряску. И все думал.

Потом пришло царство монаха. Революционные пророчества гремели под куполом Брунеллеско. Конституция переделывалась по указаниям библейских текстов и благочестивых видений. Очистительные костры зловещим заревом освещали городские площади. Вериги и власяница истязали под нарядами тела женщин. Савонарола попал в круг зрения Никколо, когда его дела решительно пошли хуже. И не покорил его, как других. Никколо ни на одну минуту не был увлечен бурным, экстатическим красноречием его проповедей и был даже не прочь смотреть на него как на вульгарного обманщика. Он не мог не видеть костра, на котором сгорел неистовый пророк, и, если стоял не очень далеко, видел и то, как сверху «падал дождь из крови и внутренностей». Когда бросили в Арно прах Савонаролы, Никколо поступил на службу к республике, спешно секуляризировавшейся под успокоенные благословения папы Александра VI.

* * *

Поводов для размышления было достаточно, а голова – хорошая. Не хватало только настоящей подготовки. В семье не было избытка, и образование Никколо

получил самое суммарное. Греческого он, по-видимому, все-таки не знал, а в латинском не мог угнаться за матерыми гуманистами.

Настоящей школой Никколо была флорентийская улица, этот удивительный организм, где формировалось столько больших умов. Дома он читал древних и Данте. Бродя по улице, получал среднее и высшее образование. И проходил курс политики. Ибо в Италии, а значит, и во всем мире не было города, где политику можно было бы изучать с большим успехом. У венецианцев опыта и умения политически рассуждать было, конечно, не меньше. Но в Венеции политика была уделом немногих: для большинства она находилась под строжайшим запретом. Во Флоренции политиками были все. Только там можно было видеть на улице живые хранилища политического опыта, важные фигуры в разноцветных кафтанах и плащах, в капюшонах с длинными концами, обвивавшими шею и перекинутыми через плечо, носителей самых громких имен славного республиканского прошлого, модели Беноццо, Гирландайо, Филиппино. Они любили стоять на площадях перед большими церквами, торжественные с серьезными неулыбающимися лицами, со стиснутыми губами, которые словно боялись разомкнуться, чтобы не выдать тайну, с тихой скупой речью. Не всегда во Флоренции политический опыт накоплялся в спокойной обстановке, иногда его приходилось усваивать под звон мечей, под грохот разрушаемых зданий, под жуткое гудение набата, в дыму пожаров: среди заговоров и революций. А в мирное время политика сплеталась с весельем, ей вторили карнавальные песни и хороводные припевы. Политика пропитывала все. Макиавелли ею опьянялся.

И все-таки капля горечи отравляла его дух уже в молодости. Происхождение и способности открывали ему дорогу к широкой политической карьере, но не было нужных связей. Для преуспевания в обществе он обладал всеми данными, но не хватало средств. Успеху у женщин мешала несчастная наружность. А когда наконец удалось устроиться – поздно, в двадцать девять лет, – место было отнюдь не блестящее: Никколо был принят в канцелярию Синьории и откомандирован в качестве секретаря в Коллегию Десяти, ведавшую иностранными и военными делами. Должность хлопотливая, утомительная, требовавшая огромной работоспособности, быстрого, точного, красивого пера и совершенно исключительной физической неутомимости. Она не давала ни достаточной самостоятельности, ни хорошего дохода, ни надежды выдвинуться. Где Никколо сел в 1498 году, после аутодафе Савонаролы, там и прижала его в 1512-м медичейская реставрация. Когда новые хозяева Флоренции прогнали его с места, он ни деньгами, ни положением не был богаче, чем четырнадцатью годами раньше. А горечи накопилось много. Горечи стало так много, что она превратилась в мрачный пессимизм.

Друзей Никколо не имел. Его не любили. Об этом свидетельствует современник, которому можно поверить, – Бенедетто Варки, историк. Рассказывая о смерти Никколо, Варки говорит: «Причиной величайшей ненависти, которую питали к нему все, было, кроме того что он был очень невоздержан на язык и жизнь вел не очень достойную, сочинение под заглавием «Государь»…

Макиавелли имел полупренебрежительный, полупессимистический взгляд на ближнего своего. В последней, восьмой песне неоконченного «Золотого осла» он вкладывает в уста свиньи грозно хрюкающую филиппику против человека, в которой разоблачаются недостатки, свойственные его природе. И сатире «Осла» вторят общие положения больших трактатов: «люди злы и дают простор дурным качествам своей души всякий раз, когда для этого имеется у них легкая возможность»; «люди более наклонны ко злу, чем к добру»; «о людях решительно можно утверждать, что они неблагодарны, непостоянны, полны притворства, бегут от опасностей, жадны к наживе».

Люди не стоят того, чтобы быть с ними искренними. Люди не стоят того, чтобы из-за них терпеть невзгоды и огорчения. Люди не стоят того, чтобы задумываться об их участи, когда им грозит несчастье. А если они провинились и заслуживают наказания, не стоит их жалеть. Как могло такое пренебрежение не злить тех, кого оно поражало?

И они ему отплатили. В то время как целая куча людей, неизмеримо менее нужных, чем он, бездарные буквоеды, трухлявые насквозь, были окружены кольцом близких, обременены почестями и благами, Никколо прошел свой путь одинокой, безрадостной тенью, и богатая Флоренция, умевшая оплачивать труды, позволяла ему с огромной семьей на руках горько нуждаться и искать заработка в сомнительных подчас аферах.

* * *

Мещански-серое, не очень сытое, уязвляющее на каждом шагу самолюбие житье в городе беспрестанно гнало Никколо в деревню и заставляло подолгу там оставаться. Там, худо ли, хорошо ли, мог он жить с семьей не попрошайничая, имел кров, пищу и даже общество, правда, иной раз самое неожиданное.

«Встаю я утром вместе с солнцем и иду в свой лесок, где мне рубят дрова. Там, проверяя работу предыдущего дня, я провожу час-другой с дровосеками, у которых всегда имеются какие-нибудь нелады с соседями или между собой… Из лесу я иду к фонтану, а оттуда – на птичью ловлю. Под мышкою у меня всегда книга: или Данте, или Петрарка, или кто-нибудь из менее крупных поэтов – Тибулл, Овидий, другие. Читаю про их любовные страсти, про их любовные переживания, вспоминаю о своих. Эти думы развлекают меня на некоторое время.

Потом прохожу на дорогу, в остерию, разговариваю с прохожими, расспрашиваю, что нового у них на родине, узнаю разные вещи, отмечаю себе разные вкусы и разные мнения у людей. Тем временем настает час обеда. Я ем дома в кругу семьи – то, что мое бедное поместье и малые мои достатки позволяют.

Пообедав, возвращаюсь в остерию. Там в это время бывает ее хозяин и с ним обыкновенно мясник, мельник и два трубочиста. В их обществе я застреваю до конца дня, играю с ними в крикку и в трик-трак. За игрой вспыхивают тысячи препирательств, от бесконечных ругательств содрогается воздух. Мы воюем из-за каждого кватрино, и крики наши слышны в Сан-Кашяно.

Так, спутавшись с этими гнидами, я спасаю свой мозг от плесени и даю волю злой моей судьбине: пусть она истопчет меня как следует, и я погляжу, не сделается ли ей стыдно.

Когда наступает вечер, я возвращаюсь домой и вхожу в свою рабочую комнату. На пороге я сбрасываю свои повседневные лохмотья, покрытые пылью и грязью, облекаюсь в одежды царственные и придворные. Одетый достойным образом, вступаю я в античное собрание античных мужей. Там, встреченный ими с любовью, я вкушаю ту пищу, которая уготована единственно мне, для которой я рожден. Там я не стесняюсь беседовать с ними и спрашивать у них объяснения их действий, и они благосклонно мне отвечают. В течение четырех часов я не испытываю никакой скуки. Я забываю все огорчения, я не страшусь бедности, и не пугает меня смерть. Весь целиком я переношусь в них».

Это замечательное письмо дает ключ ко многому. «Пусть судьба истопчет меня – я посмотрю, не станет ли ей стыдно». Какое отчаяние, какой безнадежный пессимизм в этих словах! Ведь все, что в характере и в поведении Никколо так злило и так оскорбляло современников, – все в этом крике души. Жизнь била его,

не давая вздохнуть. Впереди ничего. Так пусть же он будет еще хуже, чем о нем думают. Пусть все знают, до какого смрадного дна способен он докатиться. Пусть все морщатся от его сарказмов и мефистофельского его смеха. Пусть! «Средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».

А способен ли кто-нибудь после глубочайшего падения взлететь к солнцу, «когда божественный глагол до слуха чуткого коснется»? Из грязной придорожной деревенской остерии способен ли кто-нибудь перенестись сразу в общество величайших мужей древности, упиваться «беседой» с ними, парить в недосягаемой высоте творческих экстазов? Только он. Этого не хотят видеть? Не хотят его признавать? Тем хуже! Прикосновение к тому вечному, что есть у древних, даст в нем выход родникам мысли, и, выпрямленный, он будет создавать ценности, равные античным.

Вот эта способность творить и действовать, преодолевая постоянные внутренние боли, не давая жизненным невзгодам задушить силы духа, торжествуя над мутящим мозг пессимизмом, способность творить и действовать, раскрывая до конца дары ума и воли, темперамента и энергии, и приобщила Макиавелли к сонму великих.

* * *

Общество, которое не хотело понимать Макиавелли и отвергало его, было общество Возрождения. Никколо был его родным детищем, но капризным и своенравным: свет и тени в нем были распределены по-другому, чем у огромного большинства.

Культура Возрождения – организм сложный и противоречивый. Различные ее элементы сталкивались между собою с резкой непримиримостью, но в конце концов как-то все-таки уживались вместе. Разложение быта и семьи, моральный скептицизм, апофеоз удачи, преклонение перед человеком и силами его духа, перед красотою в природе и в человеческих творениях, расцвет искусства и литературы, первые серьезные завоевания науки, разрыв с церковными идеалами и утверждение мирских – все это переплеталось между собою и сливалось в видение необычайного блеска.

Простейшими и самыми естественными плодами, которые произрастали в этой атмосфере, были неутолимая тяга к соблазнам и прельщениям жизни, жадная

хватка, напор, неудержимый рост хищных инстинктов. У Никколо всего этого было не меньше, чем у любого из современников. Но судьба не дала развернуться его аппетитам. Его это очень сокрушало. В капитоло «О случае» он грустно поет о том, как Случай в виде женщины с копной волос спереди и с голым затылком промелькнул перед ним прежде, чем он успел его схватить, а в капитоло «О фортуне», написанном в пожилые годы, жалуется, что фортуна любит молодых и смелых, очевидно не решаясь причислить себя и ко второй категории. Приходилось мириться, что судьба, выбирая любимцев, обошла его.

У него было нечто, чего не было ни у кого из избалованных утехами жизни: огромный, острый, безгранично смелый ум. Уму Макиавелли была свойственна некоторая рационалистичность, подчас сухость, но критическая его сила была поразительна. Анализ Макиавелли не знал никаких преград, проникал до дна, доискивался до последних начал. Никто не умел с таким неподражаемым искусством изолировать вопрос и обнажать его имманентную сущность. Бесстрашие некоторых его логических операций не только смущало современников, но уже много веков бесит иезуитов, мучит моралистов и расстраивает нервы буржуазным ученым.

Легкой и безболезненной жертвой анализа Макиавелли сделалась очень скоро вера. Никколо был настоящим атеистом и по духу, и по научному своему облику. Библия и отцы церкви были знакомы ему мало. Его начитанность была чисто мирская, а когда по ходу рассуждений ему приходилось касаться опасных вопросов, он, подобно Леонардо, прятал ироническую усмешку под гримасой благочестия.

Атеизм не нарушал канона Возрождения, ибо канон Возрождения признавал безграничную свободу за критикующим умом. Но признавая законность неверия, канон на этом останавливался. Критический анализ христианской религии ставил точку где-то очень близко. Макиавелли с хмурой усмешкой смахнул эту точку и пошел дальше.

Прежде всего он сделал одно очень важное сопоставление. Личная вера – бессмыслица. Но пока на эту точку зрения станет большинство, пройдет много времени. Религия, как настроение широких народных масс, будет существовать еще долго, и политик должен уметь этим настроением пользоваться, как пользовались им римляне. Мало того: религиозность в народе нужно поддерживать, потому что народом религиозным легче управлять. Это рассуждение реального политика. Но нельзя закрывать глаза на то, что

христианская религия, выдвигая на первый план заботу о делах потусторонних, полагая высшее благо в смирении и неприятии мира, заставляет никнуть дух, размягчает характер, принижает силу и энергию человека. Древние, наоборот, своей религией поднимали дух, прославляли силу, мужество, суровую непреклонность, и потому народы древности способны были свершить великое. Христианская религия ослабляет волевую и умственную активность в человеке и в народе, и потому находится в упадке любовь к свободе и республиканский дух. С этим надо бороться.

С церковью и духовенством вообще было легче. Это была проторенная дорожка со времени первого «Новеллино». Но Макиавелли не умел смеяться так, как смеялись новеллисты. Его смех был другой. В «Мандрагоре» церковь в лице монаха фра Тимотео разрушает крепкие моральные устои у людей, успокаивает сомнения, продиктованные чистой совестью, толкает к греху и удовлетворенно позвякивает потом тридцатью сребрениками, полученными за самое безбожное с ее собственной точки зрения дело. Это – не легкая насмешка. Это – свирепая, уничтожающая сатира. Макиавелли знает, что он хочет сказать. Пока церковь управляет совестью людей, не может быть здорового общества, ибо церковь благословит, если это будет ей выгодно, самую последнюю гнусность, самое вопиющее преступление. Совершенно так же, как не может быть в Италии здорового, то есть единого и свободного, государства, пока в центре страны укрепилась Папская область, которая в своих интересах идет наперекор национальным задачам страны. Тут полная параллель.

В вере, в религии, в церкви – главное зло. Чем сложнее становится жизнь, тем это зло больше. Потому что усложняющаяся жизнь – это новая жизнь, которая секуляризируется с каждым днем сильнее к великой невыгоде церкви. Церковь отстаивает свои позиции с непрерывно возрастающим озлоблением. И тем более непреклонно и непримиримо должна вестись борьба с еще не изжитым наследием старого мира. Вольтер скажет потом: «Раздавите гадину» (Ecrasez l’infame). Формула принадлежит ему, мысль – Макиавелли.

* * *

Доктрина Возрождения благодаря Макиавелли вбирала в себя под напором жизни новые элементы, все более решительные и боевые. В ней, как и в микеланджеловском искусстве, появлялась нечто «грозное», что отпугивало более робких, но с точки зрения социальных и политических задач времени было

самой естественной защитной реакцией. Страшно, но неизбежно. Жизнь – Голгофа. Ее отражение не может быть хороводом танцующих путтов на светлом розовом фоне или беззаботной карнавальной песенкой. И важно в жизни то, что нужно.

Макиавелли в идеологии Возрождения интересует только индивидуалистическая доктрина, но в его руках она стала неузнаваема. У гуманистов интерес к человеку есть интерес к личности. Он замкнут в кругу этических проблем. Макиавелли этот круг разрывает. Человек у него берется в самом широком смысле слова, и опять строятся категории: человек, люди; соединение людей, то есть общество; жизнь общества и борьба общественных групп; возникновение власти; властитель и различные его типы; государство и различные его формы; государственное устройство; столкновение между государствами; война; нация. Его интерес возрастает по мере того, как он двигается в этой цепи все дальше.

Меньше всего интересует его отдельная личность. Макиавелли – не гуманист: в тревожное время, в которое ему пришлось жить, типичными гуманистами могли быть только бездарные и бездушные люди. Зато никто до него не подвергал такому всеобъемлющему анализу человека «как существо общежительное». Он первый стал изучать человека и человеческие отношения не с этической, а с социологической точки зрения, и это у него не случайные проблески, не единичные озарения, а выношенная до конца мысль, которой не хватало только систематического изложения и четкой терминологии, чтобы сразу войти в идейную сокровищницу человечества. А в идеологии Возрождения ломка этической установки и внесение социологической имело еще один колоссальный результат. От звена к звену, от силлогизма к силлогизму неотразимым напряжением логической мысли Макиавелли приходит к тому, что требует от него социальный заказ: к созданию политической теории. Он доказывает, что все дело в неограниченной власти. Создать сильное государство, не располагая неограниченной властью, невозможно.

Много раз было замечено, что Макиавелли в своих теоретических построениях и в их применении к жизни никогда не останавливается на полдороге, как бы суровы ни оказались те выгоды, к которым приводит его логика. Он идет до конца, сокрушая все, как бы подхватывая доносившийся с севера боевой клич: «Напролом!», «Perrumpendum est!» – лозунг Ульриха фон Гуттена. Но лозунги Макиавелли по существу еще более беспощадны и суровы, чем гуттеновское «Perrumpendum est». Поэтому ему не страшны никакие выводы, хотя бы они

тонули в потоках крови. Непримиримость проводится у него до конца.

Но если спасать родину должен государь с неограниченной властью, то как совместить с этим республиканские гимны, которыми полны «Discorsi» Макиавелли? На этом вопросе изощряли свое бессильное злорадство целые поколения лицемеров в разных рясах и в разных ливреях. Но противоречие между республиканскими идеями «Discorsi» и программой «Государя» призрачное. Власть «нового государя» – чрезвычайная и по существу временная. Макиавелли, конечно, не думал, что реальный «новый государь» сложит свои полномочия по истечении срока или окончив задачу, на него возложенную, как диктатор в древнем мире. У Макиавелли идея чрезвычайности и временности власти «нового государя» осуществляется в том, что он после смерти не передает своих полномочий никому. Его диктатура – пожизненная. Создавать единство страны и в объединенной стране новую власть может только лицо единичное, «новый государь». Если он справится, после него народ может заняться организацией свободного государства.

Макиавелли вполне верил, когда бросал к ногам «нового государя» осанну свободе и единству страны, что его рассуждения безошибочны. Он ошибался. Последняя глава «Государя», «марсельеза XVI века», повисла в воздухе без отклика. Цель, которую ставил себе Макиавелли, которой он добивался со всей страстью, стремясь к которой он раскрыл такие сокровища воли, темперамента и энергии, достигнута не была.

Введение

(Никколо Макиавелли – его светлости Лоренцо де Медичи)

Обыкновенно, желая снискать милость правителя, люди посылают ему в дар то, что имеют самого дорогого, или чем надеются доставить ему наибольшее удовольствие, а именно: коней, оружие, парчу, драгоценные камни и прочие украшения, достойные величия государей. Я же, вознамерившись засвидетельствовать мою преданность Вашей светлости, не нашел среди того, чем владею, ничего более дорогого и более ценного, нежели познания мои в том, что касается деяний великих людей, приобретенные мною многолетним

опытом в делах настоящих и непрестанным изучением дел минувших. Положив много времени и усердия на обдумывание того, что я успел узнать, я заключил свои размышления в небольшом труде, который посылаю в дар Вашей светлости. И хотя я полагаю, что сочинение это недостойно предстать перед вами, однако же верю, что по своей снисходительности вы удостоите принять его, зная, что не в моих силах преподнести вам дар больший, нежели средство в кратчайшее время постигнуть то, что сам я узнавал ценой многих опасностей и тревог. Я не заботился здесь ни о красоте слога, ни о пышности и звучности слов, ни о каких внешних украшениях и затеях, которыми многие любят расцвечивать и уснащать свои сочинения, ибо желая, чтобы мой труд либо остался в безвестности, либо получил признание единственно за необычность и важность предмета. Я желал бы также, чтобы не сочли дерзостью то, что человек низкого и ничтожного звания берется обсуждать и направлять действия государей. Как художнику, когда он рисует пейзаж, надо спуститься в долину, чтобы охватить взглядом холмы и горы, и подняться в гору, чтобы охватить взглядом долину, так и здесь: чтобы постигнуть сущность народа, надо быть государем, а чтобы постигнуть природу государей, надо принадлежать к народу.

Пусть же Ваша светлость примет сей скромный дар с тем чувством, какое движет мною; если вы соизволите внимательно прочитать и обдумать мой труд, вы ощутите, сколь безгранично я желаю Вашей светлости того величия, которое сулит вам судьба и ваши достоинства. И если с той вершины, куда вознесена Ваша светлость, взор ваш когда-либо обратиться на ту низменность, где я обретаюсь, вы увидите, сколь незаслуженно терплю я великие и постоянные удары судьбы.

Никколо Макиавелли

Глава I. Скольких видов бывают государства и как они приобретаются

Все государства, все державы, обладавшие или обладающие властью над людьми, были и суть либо республики, либо государства, управляемые единовластно. Последние могут быть либо унаследованными – если род

государя правил долгое время, либо новыми. Новым может быть либо государство в целом – таков Милан для Франческо Сфорца; либо его часть, присоединенная к унаследованному государству вследствие завоевания – таково Неаполитанское королевство для короля Испании.

Новые государства разделяются на те, где подданные привыкли повиноваться государям, и те, где они искони жили свободно; государства приобретаются либо своим, либо чужим оружием, либо милостью судьбы, либо доблестью.

Глава II. О наследственном единовластии

Я не стану касаться республик, ибо подробно говорю о них в другом месте. Здесь я перейду прямо к единовластному правлению и, держась намеченного выше порядка, разберу, какими способами государи могут управлять государствами и удерживать над ними власть.

Начну с того, что наследному государю, чьи подданные успели сжиться с правящим домом, гораздо легче удержать власть, нежели новому, ибо для этого ему достаточно не преступать обычая предков и впоследствии без поспешности применяться к новым обстоятельствам. При таком образе действий даже посредственный правитель не утратит власти, если только не будет свергнут особо могущественной и грозной силой, но и в этом случае он отвоюет власть при первой же неудаче завоевателя.

У нас в Италии примером может служить герцог Феррарский, который удержался у власти после поражения, нанесенного ему венецианцами в 1484 году и папой Юлием в 1510-м, только потому, что род его исстари правил в Ферраре. Ибо у государя, унаследовавшего власть, меньше причин и меньше необходимости притеснять подданных, почему они и платят ему большей любовью, и если он не обнаруживает чрезмерных пороков, вызывающих ненависть, то закономерно пользуется благорасположением граждан. Давнее и преемственное правление заставляет забыть о бывших некогда переворотах и вызвавших их причинах, тогда как всякая перемена прокладывает путь другим переменам.

Глава III. О смешанных государствах

Трудно удержать власть новому государю. И даже наследному государю, присоединившему новое владение – так, что государство становиться как бы смешанным, – трудно удержать над ним власть, прежде всего вследствие той же естественной причины, какая вызывает перевороты во всех новых государствах. А именно: люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого. Что опять-таки естественно и закономерно, так как завоеватель притесняет новых подданных, налагает на них разного рода повинности и обременяет их постоями войска, как это неизбежно бывает при завоевании. И таким образом наживает врагов в тех, кого притеснил, и теряет дружбу тех, кто способствовал завоеванию, ибо не может вознаградить их в той степени, в какой они ожидали, но не может и применить к ним крутые меры, будучи им обязан – ведь без их помощи он не мог бы войти в страну, как бы ни было сильно его войско. Именно по этим причинам Людовик XII, король Франции, быстро занял Милан и также быстро его лишился. И герцогу Людовико потому же удалось в тот раз отбить Милан собственными силами. Ибо народ, который сам растворил перед королем ворота, скоро понял, что обманулся в своих упованиях и расчетах, и отказался терпеть гнет нового государя.

Правда, если мятежная страна завоевана повторно, то государю легче утвердить в ней свою власть, так как мятеж дает ему повод с меньшей оглядкой карать виновных, уличать подозреваемых, принимать защитные меры в наиболее уязвимых местах. Так в первый раз Франция сдала Милан, едва герцог Людовико пошумел на его границах, но во второй раз Франция удерживала Милан до тех пор, пока на нее не ополчились все итальянские государства и не рассеяли, и не изгнали ее войска из пределов Италии, что произошло по причинам, названным выше. Тем не менее Франция оба раза потеряла Милан. Причину первой неудачи короля, общую для всех подобных случаев, я назвал; остается выяснить причину второй и разобраться в том, какие средства были у Людовика – и у всякого на его месте, – чтобы упрочить завоевание верней, чем это сделала Франция.

Начну с того, что завоеванное и унаследованное владения могут принадлежать либо к одной стране и иметь один язык, либо к разным странам и иметь разные языки. В первом случае удержать завоеванное нетрудно, в особенности если

новые подданные и раньше не знали свободы. Чтобы упрочить над ними власть, достаточно искоренить род прежнего государя, ибо при общности обычаев и сохранении старых порядков ни от чего другого не может произойти беспокойства. Так, мы знаем, обстояло дело в Бретани, Бургундии, Нормандии и Гаскони, которые давно вошли в состав Франции; правда, языки их несколько различаются, но благодаря сходству обычаев они мирно уживаются друг с другом. В подобных случаях завоевателю следует принять лишь две меры предосторожности: во-первых, проследить за тем, чтобы род прежнего государя был искоренен, во-вторых, сохранить прежние законы и подати – тогда завоеванные земли в кратчайшее время сольются в одно целое с исконным государством завоевателя.

Но если завоеванная страна отличается от унаследованной по языку, обычаям и порядкам, то тут удержать власть поистине трудно, тут требуется и большая удача, и большое искусство. И одно из самых верных и прямых средств для этого – переселиться туда на жительство. Такая мера упрочит и обезопасит завоевание – именно так поступил с Грецией турецкий султан, который, как бы ни старался, не удержал бы Грецию в своей власти, если бы не перенес туда свою столицу. Ибо, только живя в стране, можно заметить начинающуюся смуту и своевременно ее пресечь, иначе узнаешь о ней тогда, когда она зайдет так далеко, что поздно будет принимать меры. Обосновавшись в завоеванной стране, государь, кроме того, избавит ее от грабежа чиновников, ибо подданные получат возможность прямо взывать к суду государя – что даст послушным больше поводов любить его, а непослушным – бояться. И если кто-нибудь из соседей замышлял нападение, то теперь он проявит большую осторожность, так что государь едва ли лишится завоеванной страны, если переселится туда на жительство.

Другое отличное средство – учредить в одном-двух местах колонии, связующие новые земли с государством завоевателя. Кроме этой есть лишь одна возможность – разместить в стране значительное количество кавалерии и пехоты. Колонии не требуют больших издержек, устройство и содержание их почти ничего не стоят государю, и разоряют они лишь тех жителей, чьи поля и жилища отходят новым поселенцам, то есть горстку людей, которые, обеднев и рассеявшись по стране, никак не смогут повредить государю; все же прочие останутся в стороне и поэтому скоро успокоятся, да, кроме того, побоятся, оказав непослушание, разделить участь разоренных соседей. Так что колонии дешево обходятся государю, верно ему служат и разоряют лишь немногих жителей, которые, оказавшись в бедности и рассеянии, не смогут повредить государю. По каковому поводу уместно заметить, что людей следует либо

ласкать, либо изничтожать, ибо за малое зло человек может отомстить, а за большое – не может; из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести. Если же вместо колоний поставить в стране войско, то содержание его обойдется гораздо дороже и поглотит все доходы от нового государства, вследствие чего приобретение обернется убытком; к тому же от этого пострадает гораздо больше людей, так как постой войска обременяет все население, отчего каждый, испытывая тяготы, становится врагом государю, а также враги могут ему повредить, ибо хотя они и побеждены, но остаются у себя дома. Итак, с какой стороны ни взгляни, содержание подобного гарнизона вредно, тогда как учреждение колоний полезно.

В чужой по обычаям и языку стране завоевателю следует также сделаться главой и защитником более слабых соседей и постараться ослабить сильных, а кроме того, следить за тем, чтобы в страну как-нибудь не проник чужеземный правитель, не уступающий ему силой. Таких всегда призывают недовольные внутри страны по избытку честолюбия или из страха, – так некогда римлян в Грецию призвали этолийцы, да и во все другие страны их тоже призывали местные жители. Порядок же вещей таков, что, когда могущественный государь входит в страну, менее сильные государства примыкают к нему – обычно из зависти к тем, кто превосходит их силой – так что ему нет надобности склонять их в свою пользу, ибо они сами охотно присоединятся к созданному им государству. Надо только не допускать, чтобы они не расширялись и крепли, и тогда, своими силами и при их поддержке, нетрудно будет обуздать более крупных правителей и стать полновластным хозяином в данной стране. Если же государь обо всем этом не позаботится, он скоро лишится завоеванного, но до того претерпит бесчисленное множество трудностей и невзгод.

Римляне, завоевывая страну, соблюдали все названные правила: учреждали колонии, покровительствовали слабым, не давая им, однако, войти в силу; обуздывали сильных и принимали меры к тому, чтобы в страну не проникло влияние могущественных чужеземцев. Ограничусь примером Греции. Римляне привлекли на свою сторону ахейцев и этолийцев; унизили македонское царство; изгнали оттуда Антиоха. Но, невзирая ни на какие заслуги, не позволили ахейцам и этолийцам расширить свои владения, не поддались на лесть Филиппа и не заключили с ним союза, пока не сломили его могущества, и не уступили напору Антиоха, домогавшегося владений в Греции. Римляне поступали так, как надлежит поступать всем мудрым правителям, то есть думали не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, и старались всеми силами предотвратить возможные беды, что нетрудно сделать, если вовремя принять необходимые

меры, но если дожидаться, пока беда грянет, то никакие меры не помогут, ибо недуг станет неизлечим.

Здесь происходит то же самое, что с чахоткой: врачи говорят, что вначале эту болезнь трудно распознать, но легко излечить; если же она запущена, то ее легко распознать, но излечить трудно. Так же и в делах государства: если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него нетрудно, но если он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не поможет.

Римляне, предвидя беду заранее, тотчас принимали меры, а не бездействовали из опасения вызвать войну, ибо знали, что войны нельзя избежать, можно лишь оттянуть ее – к выгоде противника. Поэтому они решились на войну с Филиппом и Антиохом на территории Греции – чтобы потом не пришлось воевать с ними в Италии. В то время еще была возможность избежать войны как с тем, так и с другим, но они этого не пожелали. Римлянам не по душе была поговорка, которая не сходит с уст теперешних мудрецов: полагайтесь на благодетельное время, – они считали благодетельным лишь собственную доблесть и дальновидность. Промедление же может обернуться чем угодно, ибо время приносит с собой как зло, так и добро, как добро, так и зло.

Но вернемся к Франции и посмотрим, выполнила ли она хоть одно из названных мною условий. Я буду говорить не о Карле, а о Людовике – он дольше удерживался в Италии, поэтому его образ действия для нас нагляднее, – и вы убедитесь, что он поступал прямо противоположно тому, как должен поступать государь, чтобы удержать власть над чужой по обычаям и языку страной.

Король Людовик вошел в Италию благодаря венецианцам, которые, желая расширить свои владения, потребовали за помощь половину Ломбардии. Я не виню короля за эту сделку: желая ступить в Италию хоть одной ногой и не имея в ней союзников, в особенности после того, как по милости Карла перед Францией захлопнулись все двери, он вынужден был заключать союзы, не выбирая. И он мог бы рассчитывать на успех, если бы не допустил ошибок впоследствии. Завоевав Ломбардию, он сразу вернул Франции престиж, утраченный ею при Карле: Генуя покорилась, флорентийцы предложили союз; маркиз Мантуанский, герцог Феррарский, дом Бентивольи, графиня Форли, властители Фаэнци, Пезаро, Римини, Камерино, Пьомбино, Лукка, Пиза, Сиена – все устремились к Людовику с изъявлениями дружбы. Тут-то венецианцам и пришлось убедиться в опрометчивости своего шага: ради двух городов в

Ломбардии они отдали две трети Италии.

Рассудите теперь, как легко было королю закрепить свое преимущество: для этого надо было лишь следовать названным правилам и обеспечить безопасность союзникам: многочисленные, но слабые, в страхе кто перед Церковью, кто перед венецианцами, они вынуждены были искать его покровительства; он же мог бы через них обезопасить себя от тех, кто еще оставался в силе. И, однако, не успел он войти в Милан, как предпринял обратное: помог папе Александру захватить Романью. И не заметил, что этим самым подрывает свое могущество, отталкивает союзников и тех, кто вверился его покровительству, и к тому же значительно укрепляет светскую власть папства, которое и без того крепко властью духовной. Совершив первую ошибку, он вынужден дальше идти тем же путем, так что ему пришлось самому явиться в Италию, чтобы обуздать честолюбие Александра и не дать ему завладеть Тосканой. Но Людовику как будто мало было того, что он усилил Церковь и оттолкнул союзников: домогаясь Неаполитанского королевства, он разделил его с королем Испании, то есть призвал в Италию, где сам был властелином, равного по силе соперника, – как видно, затем, чтобы недовольным и честолюбцам было у кого искать прибежища. Изгнав короля, который мог стать его данником, он призвал в королевство государя, который мог изгнать его самого.

Поистине страсть к завоеваниям – дело естественное и обычное; и тех, кто учитывает свои возможности, все одобрят или же никто не осудит; но достойную осуждения ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей и стремится к завоеваниям какой угодно ценой. Франции стоило бы вновь овладеть Неаполем, если бы она могла сделать это своими силами, но она не должна была добиваться его ценою раздела. Если раздел Ломбардии с венецианцами еще можно оправдать тем, что он позволил королю утвердиться в Италии, то этот второй раздел достоин лишь осуждения, ибо не может быть оправдан победной необходимостью.

Итак, Людовик совершил общим счетом пять ошибок: изгнал мелких правителей, помог усилению сильного государя внутри Италии, призвал в нее чужеземца, равного себе могуществом, не переселился в Италию, не учредил там колоний.

Эти пять ошибок могли оказаться не столь уж пагубными при его жизни, если бы он не совершил шестой: не посягнул на венецианские владения. Венеции следовало дать острастку до того, как он помог усилению Церкви и призвал испанцев, но, совершив обе эти ошибки, нельзя было допускать разгрома

Венеции. Оставаясь могущественной, она удерживала бы других от захвата Ломбардии как потому, что сама имела на нее виды, так и потому, что никто не захотел бы вступать в войну с Францией за то, что Ломбардия досталась Венеции, а воевать с Францией и Венецией одновременно ни у кого не хватило бы духу. Если же мне возразят, что Людовик уступил Романью Александру, а Неаполь – испанскому королю, дабы избежать войны, я отвечу прежними доводами, а именно: что нельзя попустительствовать беспорядку ради того, чтобы избежать войны, ибо войны не избежать, а преимущество в войне утратишь. Если же мне заметят, что король был связан обещанием папе: в обмен на расторжение королевского брака и кардинальскую шапку архиепископу Рушанскому помочь захватить Романью, – то я отвечу на это в той главе, где речь пойдет об обещаниях государей и о том, каким образом следует их исполнять.

Итак, король Людовик потерял Ломбардию только потому, что отступил от тех правил, которые соблюдались государями, желавшими удержать завоеванную страну. И в этом нет ничего чудесного, напротив, все весьма обычно и закономерно. Я говорил об этом в Нанте с кардиналом Рушанским, когда Валентино – так в просторечии звали Чезаре Борджа, сына папы Александра – покорял Романью: кардинал заметил мне, что итальянцы мало смыслят в военном деле, я отвечал ему, что французы мало смыслят в политике, иначе они не достигли бы такого усиления Церкви. Как показал опыт, Церковь и Испания благодаря Франции расширили свои владения в Италии, а Франция благодаря им потеряла там все. Отсюда можно извлечь вывод, многократно подтверждавшийся: горе тому, кто умножает чужое могущество, ибо оно добывается умением или силой, а оба эти достоинства не вызывают доверия у того, кому могущество достается.

Глава IV. Почему царство Дария, завоеванное Александром, не восстало против преемников Александра после его смерти

Рассмотрев, какого труда стоит учреждать власть над завоеванным государством, можно лишь подивиться, почему вся держава Александра Великого – после того, как он в несколько лет покорил Азию и вскоре умер, – против ожидания не только не распалась, но мирно перешла к его преемникам, которые в управлении ею не знали других забот, кроме тех, что навлекли на себя собственным честолюбием. В объяснении этого надо сказать, что все

единовластно управляемые государства, сколько их было на памяти людей, разделяются на те, где государь правит в окружении слуг, которые милостью и соизволением его поставлены на высшие должности и помогают ему управлять государством, и те, где государь правит в окружении баронов, властвующих не милостью государя, но в силу древности рода. Бароны эти имеют наследные государства и подданных, каковые признают над собой их власть и питают к ним естественную привязанность. Там, где государь правит посредством слуг, он обладает большей властью, так как по всей стране подданные знают лишь одного властелина; если же повинуются его слугам, то лишь как чиновникам и должностным лицам, не питая к ним никакой особой привязанности.

Примеры разного образа правления являют в наше время турецкий султан и французский король. Турецкая монархия повинуется одному властелину; все прочие в государстве – его слуги; страна поделена на округи – санджаки, куда султан назначает наместников, которых меняет и переставляет, как ему вздумается. Король Франции, напротив, окружен многочисленной родовой знатью, привязанной и любимой своими подданными и, сверх того, наделенной привилегиями, на которые король не может безнаказанно посягнуть.

Если мы сравним эти государства, то увидим, что монархию султана трудно завоевать, но по завоевании легко удержать; и напротив, такое государство как Франция, в известном смысле проще завоевать, но зато удержать куда сложнее. Державой султана нелегко овладеть потому, что завоеватель не может рассчитывать на то, что его призовет какой-либо местный властитель, или на то, что мятеж среди приближенных султана облегчит ему захват власти. Как сказано выше, приближенные султана – его рабы, и так как они всем обязаны его милостям, то подкупить их труднее, но и от подкупленных от них было бы мало толку, ибо по указанной причине они не могут увлечь за собой народ. Следовательно, тот, кто нападет на султана, должен быть готов к тому, что встретит единодушный отпор, и рассчитывать более на свои силы, чем на чужие раздоры. Но если победа над султаном одержана, и войско его наголову разбито в открытом бою, завоевателю некого более опасаться, кроме разве кровной родни султана. Если же и эта истреблена, то можно никого не бояться, так как никто другой не может увлечь за собой подданных; и как до победы не следовало надеяться на поддержку народа, так после победы не следует его опасаться.

Иначе обстоит дело в государствах, подобных Франции: туда нетрудно проникнуть, вступив в сговор с кем-нибудь из баронов, среди которых всегда

найдутся недовольные и охотники до перемен. По указанным причинам они могут открыть завоевателю доступ в страну и облегчить победу. Но удержать такую страну трудно, ибо опасность угрожает как со стороны тех, кто тебе помог, так и со стороны тех, кого ты покорил силой. И тут уж недостаточно искоренить род государя, ибо всегда останутся бароны, готовые возглавить новую смуту; а так как ни удовлетворить их притязания, ни истребить их самих ты не сможешь, то они при первой же возможности лишат тебя власти.

Если мы теперь обратимся к государству Дария, то увидим, что оно сродни державе султана, почему Александр и должен был сокрушить его одним ударом, наголову разбив войско Дария в открытом бою. Но после такой победы и гибели Дария он, по указанной причине, мог не опасаться за прочность своей власти. И преемники его могли бы править, не зная забот, если бы жили во взаимном согласии: никогда в их государстве не возникало других смут, кроме тех, что сеяли они сами.

Тогда как в государствах, устроенных наподобие Франции, государь не может править столь беззаботно. В Испании, Франции, Греции, где было много мелких властителей, то и дело вспыхивали восстания против римлян. И пока живо помнилось прежнее устройство, власть Рима оставалась непрочной; но по мере того, как оно забывалось, римляне, благодаря своей мощи и продолжительности господства, все прочнее утверждали свою власть в этих странах. Так что позднее, когда римляне воевали между собой, каждый из соперников вовлекал в борьбу те провинции, где был более прочно укоренен. И местные жители, чьи исконные властители были истреблены, не признавали над собой других правителей, кроме римлян. Если мы примем все это во внимание, то сообразим, почему Александр с легкостью удержал азиатскую державу, тогда как Пирру и многим другим стоило огромного труда удержать завоеванные ими страны. Причина тут не в большей или меньшей доблести победителя, а в различном устройстве завоеванных государств.

Александр Македонский (356–323 гг. до н. э.) – македонский царь, полководец, создатель мировой державы. В западной историографии более известен как Александр Великий. Еще в античности за Александром закрепилась слава одного из величайших царей и полководцев в истории. Макиавелли часто ссылается на Александра Македонского в «Государе»

Глава V. Как управлять городами или государствами, которые, до того как были завоеваны, жили по своим законам

Если, как сказано, завоеванное государство с незапамятных времен живет свободно и имеет свои законы, то есть три способа его удержать. Первый – разрушить; второй – переселиться туда на жительство; третий – предоставить гражданам право жить по своим законам, при этом обложив их данью и вверив правление небольшому числу лиц, которые ручались бы за дружественность государю. Эти доверенные лица будут всячески поддерживать государя, зная, что им поставлены у власти и сильны только его дружбой и мощью. Кроме того, если не хочешь подвергать разрушению город, привыкший жить свободно, то легче всего удержать его при посредстве его же граждан, чем каким-либо другим способом.

Обратимся к примеру Спарты и Рима. Спартанцы удерживали Афины и Фивы, создав там олигархию, однако потеряли оба города. Римляне, чтобы удержать Капую, Карфаген и Нуманцию, разрушили их и сохранили их в своей власти. Грецию они пытались удержать почти тем же способом, что спартанцы, то есть установили там олигархию и не отняли свободу и право жить по своим законам, однако же, потерпели неудачу и, чтобы не потерять всю Грецию, вынуждены были разрушить в ней многие города.

Ибо в действительности нет способа надежно овладеть городом иначе, как подвергнув его разрушению. Кто захватит город, с давних пор пользующийся свободой, и пощадит его, того город не пощадит. Там всегда отыщется повод для мятежа во имя свободы и старых порядков, которых не заставят забыть ни время, ни благодеяния новой власти. Что ни делай, как ни старайся, но если не разъединить и не рассеять жителей города, они никогда не забудут ни прежней свободы, ни прежних порядков и при первом удобном случае попытаются их возродить, как сделала Пиза через сто лет после того, как попала под владычество флорентийцев.

Но если город или страна привыкли стоять под властью государя, а род его истребили, то жители города не так-то легко возьмутся за оружие, ибо, с одной стороны, привыкнув повиноваться, с другой – не имея старого государя, они не сумеют ни договориться об избрании нового, ни жить свободно. Так что у

завоевателя будет достаточно времени, чтобы расположить их к себе и тем обеспечить себе безопасность. Тогда как в республиках больше жизни, больше ненависти, больше жажды мести; в них никогда не умирает и не может умереть память о былой свободе. Поэтому самое верное средство удержать их в своей власти – разрушить их или же в них поселиться.

Глава VI. О новых государствах, приобретаемых собственным оружием или доблестью

Нет ничего удивительного в том, что, говоря о завоевании власти, о государе и государстве, я буду ссылаться на примеры величайших мужей. Люди обычно идут путями, проложенными другими, и действуют, подражая какому-либо образцу, но так как невозможно ни неуклонно следовать этими путями, ни сравняться в доблести с теми, кого мы избираем за образец, то человеку разумному надлежит избирать пути, проложенные величайшими людьми, и подражать наидостойнешим, чтобы если не сравниться с ними в доблести, то хотя бы исполниться ее духа. Надо уподобиться опытным стрелкам, которые, если видят, что мишень слишком удалена, берут гораздо выше, но не для того, чтобы стрела прошла вверх, а для того, чтобы, зная силу лука, с помощью высокого прицела, попасть в отдаленную цель.

Итак, в новых государствах удержать власть бывает легче или труднее в зависимости от того, сколь велика доблесть нового государя. Может показаться, что если частного человека приводит к власти либо доблесть, либо милость судьбы, то они же в равной мере помогут ему преодолеть многие трудности впоследствии. Однако в действительности кто меньше полагался на милость судьбы, тот дольше удерживался у власти. Еще облегчается дело и благодаря тому, что новый государь, за неимением других владений, вынужден поселиться в завоеванном.

Но, переходя к тем, кто приобрел власть не милостью судьбы, а личной доблестью, как наидостойнеших я назову Моисея, Кира, Тезея и им подобных. И хотя о Моисее нет надобности рассуждать, ибо он был лишь исполнителем воли всевышнего, однако следует преклониться перед той благодатью, которая сделала его достойным собеседовать с богом. Но обратимся к Киру и прочим завоевателям и основателям царства: их величию нельзя ни дивиться, и, как мы

видим, дела их и установления не уступают тем, что были внушены Моисею свыше. Обдумывая жизнь и подвиги этих мужей, мы убеждаемся в том, что судьба послала им только случай, то есть снабдила материалом, которому можно было придать любую форму: не явись такой случай, доблесть их угасла бы, не найдя применения; не обладай они доблестью, тщетно явился бы случай.

Моисей не убедил бы народ Израиля следовать за собой, дабы выйти из неволи, если бы не застал его в Египте в рабстве и угнетении у египтян. Ромул не стал бы царем Рима и основателем государства, если бы не был по рождении брошен на произвол судьбы и если бы Альба не оказалась для него слишком тесной. Кир не достиг бы такого величия, если бы к тому времени персы не были озлоблены господством мидян, мидяне – расслаблены и изнежены от долгого мира. Тезей не мог бы проявить свою доблесть, если бы не застал афинян живущими обособленно друг от друга. Итак, каждому из этих людей выпал счастливый случай, но только их выдающаяся доблесть позволила им раскрыть смысл случая, благодаря чему отечества их прославились и обрели счастье.

Кто, подобно этим людям, следует путем доблести, тому трудно завоевать власть, но легко ее удержать; трудность же состоит прежде всего в том, что им приходиться вводить новые установления и порядки, без чего нельзя основать государство и обеспечить себе безопасность. А надо знать, что нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые. Холодность же эта объясняется отчасти страхом перед противником, на чьей стороне – законы; отчасти недоверчивостью людей, которые на самом деле не верят в новое, пока оно не закреплено продолжительным опытом. Когда приверженцы старого видят возможность действовать, они нападают с ожесточением, тогда как сторонники нового обороняются вяло, почему, опираясь на них, подвергаешь себя опасности.

Чтобы основательнее разобраться в этом деле, надо начать с того, самодостаточны ли такие преобразователи или они зависят от поддержки со стороны; иначе говоря, должны ли они для успеха своего начинания упрашивать или могут применить силу. В первом случае они обречены, во втором, то есть если они могут применить силу, им редко грозит неудача. Вот почему все вооруженные пророки побеждали, а все безоружные гибли. Ибо, в добавление к сказанному, надо иметь в виду, что нрав людей непостоянен, и если обратить их в свою веру легко, то удержать в ней трудно. Поэтому надо быть готовым к тому,

чтобы, когда вера в народе иссякнет, заставить его поверить силой. Моисей, Кир, Ромул и Тезей, будь они безоружны, не могли бы добиться длительного соблюдения данных ими законов. Как оно и случилось в наши дни с фра Джироламо Савонаролой: введенные им порядки рухнули, как только толпа перестала в них верить, у него же не было средств утвердить в вере тех, кто еще верил ему, и принудить к ней тех, кто уже не верил.

На пути людей, подобных тем, что я здесь перечислил, встает множество трудностей и множество опасностей, для преодоления которых требуется великая доблесть. Но если цель достигнута, если царь заслужил признание подданных и устранил завистников, то он на долгое время обретает могущество, покой, почести и счастье.

К столь высоким примерам я хотел присовокупить пример более скромный, и думаю, что его здесь достаточно. Я говорю о Гиероне Сиракузском: из частного лица он стал царем Сиракуз, хотя судьба не одарила его ничем, кроме благоприятного случая: угнетаемые жители Сиракуз избрали его своим военачальником, он же, благодаря своим заслугам, сделался их государем. Еще до возвышения он отличался высокой доблестью. Он упразднил старое ополчение и набрал новое, расторг старые союзы и заключил новые. А на таком фундаменте, как собственное войско и собственные союзники, он мог воздвигнуть любое здание. Так что ему великих трудов стоило завоевать власть и малых – ее удержать.

Глава VII. О новых государствах, приобретаемых чужим оружием или милостью судьбы

Тогда как тем, кто становится государем милостью судьбы, а не благодаря доблести, легко приобрести власть, но удержать ее трудно. Как бы перелетев весь путь к цели, они сталкиваются с множеством трудностей впоследствии. Я говорю о тех гражданах, которым власть досталась за деньги или была пожалована в знак милости. Такое нередко случалось в Греции в городах Ионии и Гелеспонта, куда Дарий назначал правителей ради своей славы и безопасности; так нередко бывало и в Риме, где частные лица добивались провозглашения себя императорами, покупая солдат.

В этих случаях государи всецело зависят от воли и фортуны тех, кому обязаны властью, то есть от двух сил крайне непостоянных и неприхотливых; удержаться же у власти они не могут и не умеют. Не умеют оттого, что человеку без особых дарований и доблести, прожившему всю жизнь в скромном звании, негде научиться повелевать; не могут оттого, что не имеют союзников и надежной опоры. Эти невесть откуда взявшиеся властители, как все в природе, что нарождается и растет слишком скоро, не успевает пустить ни корней, ни ответвлений, почему и гибнут от первой же непогоды. Только тот, кто обладает истинной доблестью, при внезапном возвышении сумеет не упустить того, что фортуна сама вложила ему в руки, то есть сумеет, став государем, заложить те основания, которые другие закладывали до того, как достигнуть власти.

Обе эти возможности возвыситься – благодаря доблести и милости судьбы – я покажу на двух примерах, равно нам понятных: я имею в виду Франческо Сфорца и Чезаре Борджа. Франческо стал Миланским герцогом должным образом, выказав великую доблесть, и без труда удержал власть, доставшуюся ему ценой многих усилий. Чезаре Борджа, простонародьем называемый герцог Валентино, приобрел власть благодаря фортуне, высоко вознесшей его отца; но, лишившись отца, он лишился и власти, несмотря на то, как человек умный и доблестный, приложил все усилия и все старания, какие были возможны, к тому, чтобы пустить прочные корни в государствах, добытых для него чужим оружием и чужой фортуной. Ибо, как я уже говорил, если основания не заложены заранее, то при великой доблести это можно сделать и впоследствии, хотя бы ценой многих усилий зодчего и с опасностью для всего здания.

Рассмотрев образ действия герцога, нетрудно убедиться в том, что он подвел прочное основание под будущее могущество, и я считаю не лишним это обсудить, ибо не мыслю лучшего наставления новому государю. И если все же распорядительность герцога не спасла его крушения, то в этом повинен не он, а поистине необычайное коварство фортуны.

Александр VI желал возвысить герцога, своего сына, но предвидел тому немало препятствий и в настоящем, и в будущем. Прежде всего он знал, что располагает лишь теми владениями, которые подвластны Церкви, но при всякой попытке отдать одно из них герцогу воспротивились бы как герцог Миланский, так и венецианцы, которые уже взяли под свое покровительство Фаэнцу и Римини. Кроме того, войска в Италии, особенно те, к чьим услугам можно было прибегнуть, сосредоточились в руках людей, опасавшихся усиления папы, то есть Орсини, Колонна и их приспешников. Таким образом, прежде всего

надлежало расстроить сложившийся порядок и посеять смуту среди государств, дабы беспрепятственно овладеть некоторыми из них. Сделать это оказалось легко благодаря тому, что венецианцы, в собственных интересах, призвали в Италию французов, чему папа не только не помешал, но даже содействовал, расторгнув прежний брак короля Людовика.

Итак, король вступил в Италию с помощью венецианцев и с согласия Александра и, едва достигнув Милана, тотчас выслал папе отряд, с помощью которого тот захватил Романью, что сошло ему с рук только потому, что за ним стоял король. Таким образом Романья оказалась под властью герцога, а партии Колонна было нанесено поражение, но пока что герцог не мог следовать дальше, ибо оставалось два препятствия: во-первых, войско казавшееся ему не надежным, во-вторых, намерения Франции. Иначе говоря, он опасался, что войско Орсини, которое он взял на службу, выбьет у него почву из-под ног, то есть либо покинет его, либо, того хуже, отнимет завоеванное; и что точно так же поступит король. В солдатах Орсини он усомнился после того, как, взяв Фаэнцу, двинул их на Болонью и заметил, что они вяло наступают; что же касается короля, то он понял его намерения, когда после взятия Урбино двинулся к Тоскане, и тот вынудил его отступить. Поэтому герцог решил более не рассчитывать ни на чужое оружие, ни на чье-либо покровительство.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/nikkolo-makiavelli/gosudar-po-tu-storonu-dobra-i-zla

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить